

U M B E R T O .
ES
IL
CIMITERO
DI
PRAGA

У М Б Е Р Т О



ПРАЖСКОЕ
КЛАДБИЩЕ

Роман

Перевод с итальянского
Елены Костюкович



издательство
АСТРЕЛЬ

УДК 821.131.1-3
ББК 84 (4Ита) – 44
Э40

Публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Издание осуществлено при техническом содействии Издательства АСТ

Эко, У.

Э40 Пражское кладбище: роман / Умберто Эко; пер. с итал.
и предисловие Е. Костюкович – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 560 с.

ISBN 978-5-271-38543-8 (ООО «Издательство Астрель»)

Действие романа «Пражское кладбище» разворачивается почти целиком во Франции, но последствия этой интриги трагически поразят потом целый мир. В центре событий довольно скоро окажется Россия, где в 1905 году была впервые напечатана знаменитая литературная подделка «Протоколы сионских мудрецов». В романе документально рассказано, чьими усилиями эта подделка была создана. Главный герой очень гадок, а все, что происходит с ним, и ужасно, и интересно. Автор, строя сюжет в духе Александра Дюма, протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам и по бандитским притонам, вербует героя в гарибальдийское войско, заставляет его шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсировать бок о бок со Свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе. Одновременно, как всегда, Умберто Эко выдает читателю в обложке приключенческого романа огромный заряд знаний и идей.

УДК 821.131.1-3
ББК 84 (4Ита) – 44

ISBN 978-5-271-38543-8 (ООО «Издательство Астрель»)

- © RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 2010
- © Е. Костюкович, перевод на русский язык, 2011
- © Е. Костюкович, предисловие, 2011
- © А. Бондаренко, оформление, 2011
- © ООО «Издательство Астрель», 2011
Издательство CORPUS ®

Содержание

<i>Елена Костюкович. От переводчика</i>	7
1. Прохожий, в то серое мартовское утро	29
2. Кто я?	34
3. В “Маньи”	65
4. Дедовы времена	86
5. Симонино — карбонарий	130
6. На службе у служб	146
7. В гарибальдийской “Тысяче”	166
8. “Геракл”	197
9. Париж	220
10. Далла Пиккола в затруднении	231
11. Жоли	233
12. Однажды ночью в Праге	257
13. Далла Пиккола пишет, что Далла Пиккола — это не он	282
14. “Биарриц”	283
15. Далла Пиккола воскрес	304
16. Буллан	308

17. Дни Парижской Коммуны	312
18. Протоколы	340
19. Осман-бей	354
20. Русские?	361
21. Таксиль	367
22. Дьявол в XIX веке	388
23. Двенадцать правильно истраченных лет	423
24. Однажды ночью во время мессы	478
25. Привести в порядок мысли	503
26. Окончательное решение	514
27. Недописанный дневник	538
<i>Беспользные ученые комментарии</i>	<i>551</i>
<i>Иллюстрации</i>	<i>558</i>

От переводчика

Добравшись до завершающей фазы своего шестого романа, Эко состриг бороду, отрастил развесистые усы и стал похож на французских буржуа мопассановского времени в жилете, с брюшком и с тростью. На запечатленных художниками «Отверженного салона» господ, которые после долгой государственной прыготни из монархии в республику, из республики в монархию, от пораженчества к реваншизму, от бунтарских кокард к шапоклякам и гардениям в петлице наконец остепенились и своими вальяжными манерами и гурманством, жовиальностью, эгоистичным жизнелюбием явно взялись воспроизводить невыветриваемый образ Александра Дюма-отца, то есть того, кто и есть в общепринятом международном представлении эталон Франции.

У Дюма Умберто Эко позаимствовал и в самом деле немало. Не только внешнюю атрибутику. Эко — такой же обольститель читательских масс, выдающий в оболочке приключенческого романа заряд знаний и идей, которого хватает читателям на целую жизнь. Он, как Дюма, живописует то, чего сам вроде бы и не видел, потому что лихо использует документ.

Имеется, однако, между этими гигантами пера одна серьезная разница, кроме той явной, что Умберто Эко не мулат и на него не работают «негры».

Умберто Эко пишет романы нравственного содержания.

Развлекательность авантюрная (для всех) и интеллектуальная (для любителей) в романах Эко — на службе крепкой моральной программы.

«Имя розы» — роман об умственной свободе, «Маятник» — о необходимости умственную свободу окорачивать здравым смыслом. «Остров накануне» — о том, что человеческая жизнь осмысленна тогда, когда ум мобилизуется на борьбу со страхом смерти. «Баудолино» — о том, как превосходно, что человечество свою глухую борьбу за выживание разрисовывает веселыми красками исторического вымысла и из героического, полумифического прошлого черпает силы для новой борьбы. «Таинственное пламя царицы Лоаны» — тоже о выстраивании истории, но истории индивидуальной, причем частная судьба плотно привязывается к судьбе общества узами ответственности и морали.

И вот, наконец, дописано давно задуманное «Пражское кладбище». И в нем центральная мысль — как из психопатического суеверия зачалось и явилось в человеческий мир, пройдя по родовым путям словесности, как и другие судьбоносные тексты — Тора, Евангелие, Коран, «Марсельеза», «Декларация прав человека и гражданина», «Коммунистический манифест», цитатник Мао, — еще одно руководство к действию, раскрепостившее убийственную силу, которая послала на гибель миллионы.

Это как фильм «Жизнь прекрасна»: предложен дивертисмент на тему материала, который ну совсем уж нисколько не смешон.

Действие происходит именно-таки во Франции, на душевной родине писателя, в стране, которая первая возвела на вершину общественной престижности интеллектуализм, где впервые сумели церковь отгородить от государства, где впервые с высшей государственной трибуны утвердили лозунги свободы, равенства и братства, где поэзия звучна, проза остроумна, диалоги быстры, а порнографические виньетки изящны.

Эко до того влюблен во Францию, прожив в своей парижской квартире многие месяцы, и, наверно, если посчитать, годы, что имеет полное право крикнуть: именно Франция, эта тонкая умственная среда, была тем ателье, где слепили пробный макет конструкции, которая потом попала в руки темных неулыбчивых людей и в особенности — одного бездарного австрийского художника и позволила ему загнать в вонючие теплушки с полами, залитыми негашеной известью, в бараки-отстойники, в газовые душевые с «циклоном Б» по одной только Европе не менее шести миллионов людей. Франция, принято считать, была изобретательницей этой мерзости. Россия — рекламным агентом и продюсером: именно в русских журналах и издательствах эта мерзость в 1905 году была впервые напечатана. Печатается и продается она в России до сих пор. Литературная композиция, о которой пойдет речь, носит одиозное название «Протоколы сионских мудрецов». Мировой бестселлер, так сказать. В рейтингах самых продаваемых на свете книг эта занимает второе место после, ну, иначе не могло быть, Библии. За счет читателей с территорий, где исповедуется ислам.

Вот еще раз речь в романе пойдет о книге, которая убивает (помните сюжетную завязку «Имени розы»?). Эко, узнавший и высказавший о книгах все, что можно сказать, не удержался от соблазна — развинтить адскую машинку, понять, как устроена она.

Как? Ну а как? А устроена так же, как и остальные книги. Поддается литературоведческому анализу. Историко-литературному разбору. Мы его в романе, без обмана, в полной мере, к нашему превеликому удовольствию, и получим.

Но не бесстрастная любовь к курьезам осенит собой это интересное культурное занятие. Читатель ни на минуту не перестанет помнить, что за прелестную вещицу он созерцает. Для этой цели особо выписан центральный герой — Симонини. По сюжету, он поддельщик документов, изобретатель «Протоколов». Этот хитрюга и пачкун — противнейшее порождение литературного пера, на какое только Умберто Эко оказался способен.

С первой же строки Эко ставит себе трудную задачу: пиша книгу как монолог от первого лица, вызвать в читателе по отношению к герою отчетливую рвотную реакцию. Нелегко пришлось и переводчику.

У писателя это получилось. Будем надеяться, получилось и по-русски. А так как читать интересно именно о злодеях, можно сказать, здесь Умберто Эко снова выигрывает соревнование с самим собой. Держа читателя на крючке занимательности, через приключения в стиле того же Дюма (Дюма во плоти — в романе среди действующих лиц!) автор протаскивает затаившего дыхание читателя по зловонным парижским клоакам. Эта канализация и постоянно присутствующая в сюжете вонь — еще одна метафора, чтобы не забывать, из какого материала вылеплена литературная мистификация. Эко гоняет героя по рыгаловкам и притонам, вербует в полубандитское гарибальдийское войско, заставляет шпионить на все разведки и контрразведки мира, в том числе и на русскую охранку, укрощать истеричек из клиники доктора Шарко, распивать пиво с Зигмундом Фрейдом, форсировать бок о бок со Свободой на баррикадах и даже участвовать в сатанинской мессе с включенной в расписание би- и гомоэротичной педофил-оргией. Сочинять вместе с проходимцем Лео Таксилем «Занимательную Библию» и «Занимательное Евангелие», те самые, которые, опубликованные в «Политиздате» пятиллионными тиражами, красовались в каждом втором советском доме на чешских с раздвижными стеклами книжных полках или внутри гарнитуров «Хельга», демонстрируя, что прощельге Таксилю посмертно и без всякого для себя коммерческого толку удалось-таки окопачить громадную государственную пропагандистскую махину. Не во Франции, так в СССР. Ведь Таксиля действительно воспринимали в советском политпросвете как невесть какого убежденного борца с религиозным ретроградством.

Напридумывал Эко с три короба, сказал бы неподготовленный читатель. Теперь не скажет! Он у нас сейчас станет под-

готовленным: пусть читатель с самого начала знает, что придуманных героев и историй в этом романе нет. Все, что описано, основано на фактах. Это мы сами видим по Таксилю (в Европе Таксиля опознать никто не может, Таксиль в Европе начисто неизвестен).

Сплошные факты — свидетельствует и Умберто Эко в своем послесловии. Единственный выдуманный герой, добавит он, это сам Симонино Симонини. Да и тот, увы, похоже, до сих пор существует, он, похоже, все еще среди нас.

Симонини злодей, и поэтому следить за ним интересно. Он еще и со всех точек зрения кошмарен: жирен, труслив, неопрятен, лжив, вороват, агрессивен, подбострастен, нагл, подл, неспособен к дружбе, неспособен к любви, неспособен к сексу, невротик, страдает раздвоением личности. Одной только неприятной черты в этом авторе «Сионских протоколов», как ни крути, не доищешься. Симонини не антисемит!

Вот до какой степени Эко любит парадоксы. Вернее сказать, вот до какой степени Эко понимает, что в жизни всегда есть место парадоксу.

Симонини не знает евреев, почти не общался с ними. За что же ему их ненавидеть? Так автор подводит нас к изумительной ситуации, которая не раз и не два повторялась в частной и общественной жизни. Антисемитизм, разъедающий изнутри многие людские общества, породивший океаны насилия, моря жертв, довольно часто имеет место как явление чисто головное. Эмоциональность в него приходится привносить дополнительными средствами, зачастую — лживыми подтасовками. Это верно по отношению к истории европейского антисемитизма, который по характеру — феномен религиозной, а не расовой неприязни. Италия, где живет и работает Эко, — тому пример. Та иудеофобия, которая встречается в Италии, она в основном умственная.

А расового, нутряного антисемитизма в Италии отродясь не знавали.

Религиозный — имеется. В его насаждении католическая церковь преуспела. Относительно идеальной цели — процентов на сорок пять. Но все-таки, факт есть факт, преуспела.

У того же Эко в многочисленных интервью, данных по случаю выхода этого романа, прослеживается его постоянная идея: что для единения масс потребен не совместный идеал, а совместный противник. По принципу «против кого дружить». Только что вышел сборник публицистики Эко с красноречивым названием «Сотвори себе врага». Много напряжения, конфликтов, геноцидов, ересей, церковных преследований и заурядных преступлений в человеческой истории как раз на сотворении врага и зиждилось. В романе «Пражское кладбище» рассмотрен один из вариантов параноидальной заикленности на «враге» — антисемитизм.

Термин «антисемитизм» был введен в обиход относительно недавно (в 1879 году) венским заштатным журналистом Вильгельмом Марром. Неприязнь же христиан к евреям имеет далекие корни и возникла в пятом веке, как только новая модификация иудейской доктрины — христианство — стала официальной религией империи Рима. Первые христиане считали именно себя «правильными» евреями. Евреи же, конечно, думали наоборот, то есть что христиане — опасные еретики. В русле этого первого внутрипартийного конфликта у христиан возникла тенденция интерпретировать разрушение Иерусалимского храма в 70 году н.э., а также всего Иерусалима в 135 году н. э. как божие наказание уклонистам. Тогда же возникли первые разговоры о богоубийстве руками иудеев. Взаимное раздражение нарастало. В девятом веке в литургию христианской пасхальной мессы в тот стих, где возносились молитвы за язычников и иудеев, была введена злобная поправка: «за евреев молиться не преклоняя колен». Вот он, первый случай, когда вредность уже начала походить на анекдот. А дальше стала отпадать охота смеяться.

Тысячный год, коллективная истерия в ожидании конца света. Первые крестовые походы принимали в себя, наряду с регулярны-

ми армиями, и бандитскую вольницу. Подобной ораве нужно же было кого-то грабить! Грабили язычников, грабили политических оппонентов, а то и ни в чем не виноватых христиан — например, жителей Константинополя в 1204 году (что Умберто Эко выразительно описал в начале романа «Баудолино»). Но, естественно, грабить еврейские кварталы было логичнее всего.

Церковь должна была срочно приспособливаться к действительности и как-нибудь оправдывать мародеров, чтобы не пришлось своих же вояк показательно вешать. В 1179 году Третий Латеранский собор ввел законоположение, в силу которого клятва еврея стала иметь меньшую юридическую силу, нежели клятва христианина (что было очень удобно для полевых судов). В 1215 году Четвертый Латеранский собор ввел особую форму одежды для евреев. Опять же это упростило развитие событий в любом уличном конфликте и в полицейском его улаживании.

До тринадцатого века евреи в Европе говорили, питались и одевались так же, как их соседи-христиане, и вообще со времен религиозного распутья это положение длилось чуть ли не тысячу лет! А тут вдруг, нате вам, вводятся правила, явно показывающие — вот он, тот, кого ты искал, вот он, погляди на него, это же Другой.

Жизнь в условиях запретов побуждает людей вырабатывать соответствующие привычки. Запрет на владение землей и постоянная гонимость евреев выработали у них готовность к переселениям, легкость в овладении языками и традицию вкладывать сбережения в единственную форму, легко перемещаемую (хотя и легко отнимаемую), — драгоценности. Церковь в средневековой Европе препятствовала развитию грамотности в массах, желая бесконтрольно управлять народами во всех аспектах: экономическом, общественном, нравственном и семейном. Католицизм не способствовал демократизации книжной культуры. Особенно же церковь опасалась проникновения в Европу аристотелевских идей через аверроэсову арабскую культуру (об этом Эко написал в романе «Имя розы»), равно как и через

иудейскую (через сочинения Маймонида). У христиан не бывало книжек дома — у евреев книги имелись в каждой семье. Классический обратный стереотип: христиане чужаются книг — евреи обожествляют их. Ну а национал-социалисты, еще раз демонстрируя протестное поведение, на площадях Германии в тридцатые годы сооружали из книг костры.

Неученые европейцы даже думали, будто еврейские книги полны кощунственного колдовства (это при том, что Талмуд — помесь настольного календаря с «Домоводством!»). Раз так, евреи работали в образе и доходили до шаманства, создавая вокруг себя видимость, будто да, книги у них заколдованные, знание — надмирное. Рождалась вся бутафорика Каббалы. (Мысль о гораздо более поздней, но интересной ситуации: азбука языка идиш, который — жаргонное отпочкование от немецкого, не именно ли для создания таинственной волшебной атмосферы продолжала использовать древнееврейские письмена?)

Средневековое общество Европы передало евреям функцию ростовщичества потому, что христианам церковь прямо запрещала эту профессию. Талмудом, кстати, ростовщичество тоже запрещается, но раввины по необходимости применяли к запретам мягкое истолкование. Как реакция на этот род занятий, в сочетании с евангельским мотивом тридцати сребреников сформировался антипатичный и опасный миф о «еврейском стяжательстве», который мы встречаем повсеместно в классической литературе. Шейлок — один из самых стойких стереотипов спонтанной неприязни и даже ненависти.

Реакция еврейских сообществ на выталкивание их из цивилизации Европы была достаточно адекватной, ударом на удар, а иногда бывала даже и чрезмерной. На фоне гигантской коллективной травмы абсолютизировалась идея собственной культурной ни-на-что-не-похожести, чего последствия всем известны: обособление языковое, поведенческое, территориальное (иврит, идиш, кошер, гетто).

В четырнадцатом веке в Европе формировались современные нации. В противостоянии имперскому и папскому универсализму формировалось европейское самосознание в виде суммы национальных менталитетов. Процесс этот шел через глубокий кризис и через катастрофы. Столетняя война, крестьянские восстания, голод 1315–17 гг. и, наконец, чума 1347–48 гг. выбили треть населения Европы. Представить это себе можно через картинку: мир после ядерной войны. Естественно, не могло не возникнуть чувство, что подобная беда сама по себе явиться не может. Все активнее общество нацеливалось на отыскание злоумышленника, владеющего сверхъестественной силой. Ясно, что на эту роль превосходно подходили евреи с их непонятным языком, необъяснимым стилем жизни и колдовскими книгами. Так церковная инквизиция получила возможность удобного выхода из любого тупикового процесса. В народную мифологию накрепко вошли фигуры вредителей: дьявол, ведьма и еврей. Нередко в искусстве, особенно в Италии, еврей изображался в образе скорпиона. В 1495 году Испания, мобилизуясь для освоения Америк, привела в порядок свою внутреннюю обстановку очень радикально. Дабы перестать с евреями ссориться, применили окончательное решение. Дали выбор: отъезд, крещение или смерть. Гуманнее, нежели нацисты, которые выбора не то что тройного, а и двойного не давали.

Эко разместил события в Европе в веке, наступившем после крупных политических революций. И именно осмысляя опыт сильной перетряски – Французской революции – и опасаясь его повторения, буржуазная культура снова взялась истолковывать историческую катастрофу как козни закулисного агента, нарочно переводящего стрелки истории. Врага сотворяли по тому принципу, что явно он или колдун, или тайный заговорщик. В одних версиях оккультная регулировка истории выступала основным механизмом, в других второстепенным. Но верили: ничто само не делается, за всем что-нибудь тайное да скрыто. Так и рожда-

лись байки то о заговоре двенадцати колен, то о розенкрейцерах, то о тайном комитете работающих в подполье тамплиеров, то о масонах, то о иезуитах. Вот только до пришельцев из космоса они тогда не додумывались, оставили следующему веку. А тут еще Наполеон в 1807 году созвал еврейский Большой Синедрион. Ну и аббат Баррюэль с Жозефом де Местром вовремя выдвинули полезную и изящную идею: за всякой революционной заварухой скрываются заговорщики — евреи.

Надо сказать, что при воспроизведении бредовых домыслов и чужих мыслей автор строит повествование настолько сложно, что порой его обвиняют в недостатке политкорректности.

«Читая столько гадких фраз против евреев, читатель перепачкивается антисемитской грязью, и можно предположить, что некоторые способны в конце концов и поверить этим поклепам. [...] Зло в книге описано, но не заклеено. Отсутствуют положительные герои, читателю не с кем отождествиться, в результате выходит какой-то аморальный вуайеризм...»

А мы-то думали, подобная критика бывала только в советской печати! Нет, это пишет о «Пражском кладбище» главный раввин города Рима Риккардо Ди Сеньи: «Полагаю, смысл книги Эко неясен. [...] Что вынесет читатель из нее? Правда или неправда — то, что в ней сказано про еврейский заговор, масонские, иезуитские? Ведь читатель так и не поймет: намерены или не намерены евреи разрушить цивилизованное общество и захватить полную власть над миром?»

Говорить такое — не доверять читателю. А ведь не кто иной, как Эко создал теорию Идеального читателя, посвятил ему целую книгу. И точно: читатель книг Эко, как говорили в советских школах, растет над собой. При этом и хохочет, и огорчается, и сопереживает читаемому. Радость увлекательного текста — и радость от работы собственной мысли.

Думается, во многих странах содержание этого романа Эко расшифруют без ошибок. Во-первых, именно в Италии, сколько бы ни беспокоился раввин. В Италии неспроста уже продано семьсот тысяч экземпляров. Очевидно, читателям в этой стране хочется и узнать много нового, и развлечься, и обдумать собственную историю — поведение католической церкви, позорные расовые законы.

Книгу с трепетом и довольно неоднозначно восприняли в Германии — ну, тут и пояснения не нужны.

Франция? Целый год после выхода «Пражское кладбище» — главный бестселлер во Франции, хотя, если задуматься, мрачноватое зеркальце Умберто Эко им преподнес.

Ну а теперь Россия. Опять-таки, разве требуется разжевывать? Здешний еврейский вопрос не упишешь и на бумагу, превышающую длиной даже и сам экзовский роман. Кто слово «погром» ввел в чужие языки? Да сами-то протоколы кто сочинил — не вымышленный же романистом Симонини? Поди, какой-нибудь русский крушеван или другая аналогичная сволочь. Не случайно цитируются в романе и Достоевский, и идеологи царизма, и шефы Третьего отделения. С другой стороны, не евреи ли после революции преимущественно сформировали первые большевистские комитеты, расстреливали, проводили коллективизацию, спибили кресты и колокола с церквей? Сталин, мы помним, со вкусом вещал: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть последовательными и заклятыми врагами антисемитизма». Как всегда, обман с точностью до наоборот. На деле-то что было? Этим «заклятым врагам антисемитизма» пришлось же в голову (после Освенцима!) лазить в трусы врачам и знаменитым литераторам и расшифровывать псевдонимы?

В общем, напрасно беспокоится римский раввин. Читатели в самых разных странах, увы, подготовлены по теме антисемитизма

довольно, чтобы не колебаться, решая, на чьей же стороне находится автор.

Хотя все же, думается, раввин и вправду подметил опасное место.

Так как Эко читает множество книг и постоянно забавляется самыми удивительными толкованиями истории и общества, он, да, дал повод некоторым критикам подумать, будто и к данному материалу автор отнесся как к интересному интеллектуальному курьезу. Равноправному с другими курьезами.

В романе не слышно громогласных порицаний, проклятий. Моральных проповедей. Нет ожидаемого болевого надрыва, нет разговора о последствиях, о том, что же случилось дальше, после опубликования выдуманных Симонини по заказу царской охранки «Протоколов». Нет, это кратко проговорено, но в приложении.

А что, разве требуется перечислять последствия? Разве мир не помнит историю Германии и Европы начиная с 1924 года, когда Гитлер, сидя в уютной тюремной камере после неудавшегося мюнхенского путча, проработал с карандашом этот интересный текст, попутно надиктовав свою во многом «Протоколами» навеянную «Майн Кампф»?

Пожалуйста. Вот — последствия.

Двадцать шестого апреля 1933 года, через три месяца после прихода к власти, Гитлер принял католических епископов и сказал им: «Меня упрекают в предвзятом подходе к еврейскому вопросу. В течение 1500 лет католическая церковь считала евреев зловредными существами (*Schaedlinge*), содержала их в гетто и так далее, потому что известно, что такое евреи. Вот я и воспринимаю их как вредные элементы для государства и церкви и тем самым оказываю христианству неоценимую услугу»¹.

1 Г. Мюллер, «Католическая церковь и национал-социализм», документы 1930–1935, Мюнхен, 1963, с. 118.

Это он с епископами так. А перед толпой на площадях Гитлер говорил иначе. Он перед толпой не переставлял акценты с расового аспекта на религиозный. Двадцатый век придал всем предшествовавшим антисемитизмам острую складку. Он, двадцатый век, как в пещерной до-истории, шел с дубиной не на религию, а на расу. Убивали не за веру, а за кровь. И учились этому по «Протоколам».

Мы не забываем о последствиях в нацистском, германском мире, и мы не забываем также, что жертвы «Протоколов» многочисленны и в Италии, и во Франции, и в США, где «Протоколами» пользовался ку-клукс-клан. И конечно же в России. И во всем исламском мире. Шествие «Протоколов» по человеческим костям победой над Гитлером отнюдь не закончилось. И покамест этому шествию не видно конца.

В книге Эко прямо не сказано об этом. Сюжет просто замер на рубеже двадцатого века. Но ведь это не монография, а роман.

Даже и после Гитлера, после Освенцима и Трешлипки, после того как союзники все это нечеловеческое, что там оказалось, запротоколировали, описали, засняли, зафотографировали и распространили информацию по всему миру — даже и тогда на мировом уровне с необходимой громкостью не прозвучал приговор этой книге («Протоколы...») и пропагандируемому в ней античеловеческому бреду.

До поры до времени молчала христианская церковь.

На ее совести много чего в этом смысле накоплено. Один из идеологов итальянского фашизма Роберто Фариначчи не случайно говорил: «Если мы как католики стали антисемитами, к тому вели проповеди церкви за прошедшие двадцать веков. [...] Не получится у нас за несколько недель отказаться от антисемитских принципов, внедрявшихся церковью в ходе тысячелетий».

В 1899 году, после дела Дрейфуса во Франции, но еще до дела Бейлиса в России, когда уже опасно забродила эта острая тематика в странах Европы, кардинал Воган и несколько других авторитетных представителей английского католицизма обратились к Вати-

кану с требованием опровергнуть легенду о ритуальных еврейских убийствах с кровопусканием. В сущности, предлагалось, чтобы церковь дала задний ход по линии своего же собственного утверждения о святом страдании некоего младенца из Тренто, якобы замученного евреями, а звали младенчика Симонино — вот, оказывается, как объясним выбор имени главного героя в романе.

Церковь тогда навета не опровергла, публично не отмежевалась.

Когда в Италии, при нулевой поддержке населения, Муссолини, подстрекаемый Гитлером, вынудил короля ввести несозвучные духу этой страны расовые законы против евреев (расовый подход, повторю, неспецифичен для Италии), папа не протестовал. Мы говорим о Пии Двенадцатом. О папе, на чей понтификат пришлось Вторая мировая война и геноцид. Его предшественник Пий Одиннадцатый, видя, как дегенерирует мировая обстановка, судя по архивным находкам, готовил протестную энциклику *Humani Generis Unitas* против расизма и антисемитизма (хотя и исполненную религиозного антииудаизма). Энциклика должна была быть опубликована 15 мая 1939 г. Но папа не вовремя скончался, и созданную им энциклику спрятали, не опубликовали. Танец разоблачений, контрразоблачений, пропагандистских заявлений по вопросу об этой «утаенной энциклике» длится и по сегодняшний день.

Пий Двенадцатый робко высказался против расовых преследований в 1939 году. Один только раз: «Пусть властители народов, у которых в руках меч, помнят, что не должны располагать жизнью и смертью людей по причине их национальности или происхождения, а единственно в силу закона божьего, от Бога же на земле всякая власть». Эта фраза — все, что было сказано Пием XII против уничтожения евреев и цыган, дискриминации африканцев и славянских народов. Риббентроп через посла в Ватикане пугнул папу даже за этот вялый звук: «Проинформируйте его, что Германия не потерпит подобного и найдет способ заставить к себе прислушаться». Пий XII ни разу публично не произнес слово «еврей», слово «нацизм». Немецкому писателю Хохгуту принадлежит часто

цитируемая формула: «Никогда в истории такое количество людей не платило жизнью за пассивность всего лишь одного отдельного исторического лица».

Речь об официальной партийной позиции. Конечно, на уровне личностей, простого духовенства, рядовых прихожан порядочных людей было множество, да и героев; мало ли было героев. Мало ли людей в Европе рискнуло жизнью и даже приняло смерть, оказывая помощь уничтожаемым. В Аллее праведников в Яд-Вашеме сколько деревьев шумит листвой в память о них!

А официальная тогдашняя позиция церкви восторга не вызывает. Архиепископ Мюнхена Михаэль фон Фаульхабер высказывался в 1933 году, еще до принятия нюрнбергских «Закона о гражданине Рейха» (*Reichsbürgergesetz*) и «Закона об охране германской крови и германской чести» (*Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre*), но уже при появлении законодательных актов в духе арианства, защиты расы, стерилизации, недопущения браков: «Подобное отношение к евреям, — писал архиепископ, — до такой степени нехристианское, что любой христианин, не говоря уже любой священник, обязан быть предубежден против него». Однако дальше архиепископ развивал свою мысль в немилосердную и циничную сторону: «Тем не менее для церковной среды существуют и более насущные проблемы. Школа и защита католических общин на нашей Родине еще важнее, а поскольку мы имеем основания полагать, и это уже проявляется на практике, что евреи в состоянии постоять за себя сами, следовательно, у нас нет никаких причин давать правительству повод переходить от антиеврейской ненависти к ненависти антииезуитской». С подобными же речами в том же году выступил и архиепископ Линца.

Для глубокого понимания романа «Пражское кладбище» эти исторические факты необходимо знать. И непременно надо знать, как поменялась позиция высшего духовного руководства христианской церкви по вопросу об этой мировой трагедии. В тридцатые

и сороковые годы она выглядела как пассивное приятие. А вот к концу семидесятых годов зазвучала совершенно иная огласовка.

Папа Иоанн Павел Второй, сделавший тему памяти центральной темой своего понтификата, начал работу в новой должности с официального посещения Освенцима (1979 г.), побывал в Маутхаузене в 1998 г. и в Майданеке в 1999 г. В 1995 году, выступая с балкона перед толпой, собравшейся на площади Святого Петра, папа торжественно призвал почтить память варшавского гетто и сказал: «Страшная память Катастрофы — ночь истории, в нее вписаны невиданные преступления против Бога и человека». 13 апреля 1986 года — первый понтифик после святого Петра — Иоанн Павел переступил порог римской синагоги и назвал евреев старшими братьями христиан. И что самое существенное, в воскресном «Ангелусе» 14 января 1994 года папа попросил у евреев прощения за «предрасудки и псевдотексты [...], послужившие в качестве предлога для долгой ненависти в отношении братьев-евреев», повторив ту же формулу и на торжественной церемонии в базилике Святого Петра 12 марта 2000 года. Войтыла имел в виду под «псевдотекстами» в первую очередь то самое, о чем и это наше предисловие и весь увлекательный приключенческий роман Эко, — тот самый фальшивый текст, из-за которого запылился весь планетарный сыр-бор.

Вот, похоже, самое эффективное, чем удастся с этой ползучей дрянью бороться: прямой речью руководителей христианской церкви с высоких трибун. Здесь прямые высказывания уместны. А в романе прямым высказываниям не место. Как и прямой исторической полемике. Трудно передать, сколько было уже за минувший век предъявлено аргументов против этой подделки. Охотник на провокаторов легендарный Владимир Львович Бурцев, один из свидетелей на Бернском процессе 1934–1935 гг. о ложности «Протоколов», выпустил в 1938 г. известнейшую книгу «Протоколы сионских мудрецов. Доказанный подлог», где все по полочкам разложил, поясняя, что «Протоколы» являются сфабрикован-

ной фальсификацией и не имеют исторической достоверности. За этой книгой были опубликованы еще десятки книг и статей.

Но в ответ появились контркниги и контрстатьи, часто безграмотные, но дико нахрапистые. Если уж даже такие, казалось бы, рассудительные практические люди, как Генри Форд, в своих коммерческих интересах седлали этого опасного тигра! В 1920 году в США Генри Форд спонсировал издание «Протоколов» тиражом пятьсот тысяч экземпляров, опубликовав также в 1920–1922 гг. в газете *The Dearborn Independent* серию антисемитских статей, озаглавленных «Международное еврейство. Важнейшая проблема мира», и писал: «Протоколы вписываются в то, что происходит. Им 16 лет, и вплоть до настоящего времени они соответствовали мировой ситуации».

В странах, где нет запрета, «Протоколы» выходят большими тиражами и находят благодарных читателей. Разве справишься с этим методом ученого опровержения? Упорно бубня, что ложь — это ложь? Еще поди убеди! Ведь существуют группы обученных азбуке людей, и даже защитивших диссертации и хорошо играющих в шахматы, которым не втемяшишь, что Иван Грозный и Генрих Восьмой — не одна и та же историческая фигура.

Можно сколько угодно доказывать, что «Протоколы» — подделка. Плохо именно то, что любое опровержение работает на рекламу темы. Так устроена массовая информация. Пусть упоминают ругательно, обличают с пеной у рта — лишь бы упоминали. Гитлер писал в «Майн кампф»: «“Франкфуртер цайтунг” постоянно плачется перед публикой, что “Протоколы” якобы представляют собой подделку; это как раз и является самым надежным доказательством их подлинности». Что еще можно добавить? Полемика против — не прием.

Печатать эту бредятину, ясно, не надо бы. Жаль, однако, что российская государственная цензура наградила титулом правомочного этот лживый и погубивший много жизней текст. В России в январе 2006 года члены Общественной палаты и пра-

возащитники выступили за внесение в законодательство поправок, предполагающих создание списка запрещенной к распространению в России экстремистской литературы, в который были бы включены и «Протоколы». Но по состоянию на январь 2011 года «Протоколы» не включены в Федеральный список экстремистских материалов.

Как же можно переагитировать широкие массы, что сионских мудрецов на свете нет? Да еще в эпоху интернета, когда все, что высказано, становится свято, а высказываться имеет право любой, и писучесть этого «любого» пропорциональна его неграмотности?

Только средствами художественной литературы. Не крича, а высмеивая, реконструируя, развлекая. Задействуя специальные приемы работы с опасными веществами. Без драматизма. Без боязни оказаться понятым превратно.

Эко доверяет своим читателям. Перед ними нет необходимости вопить и бить в набат. Эко привык действовать средствами сильнейшего на свете оружия, которое «металлов тверже» — средствами литературного слова.

Пускай моральное предостережение, заключенное в оболочку романа-фельетона, у Умберто Эко и не широковещательно, не крикливо, но тем громче оно «выстреливает» на причудливом фоне, казалось бы, легкомысленных мелочей, интриг, рецептов, анекдотов и бытовых штрихов. Этому автору подвластны и игристое французское острословие, и британский невозмутимый юмор (вспомним шуточки Вильгельма Баскервильского). Предостережение звучит пусть негромко, ну а смысл сообщения — оглушительен. Так «выстреливает» бесстрастная реплика английского дворецкого, когда в Лондоне потоп и бешеной водой выбивает двери холла: «Темза, сэръ».

Елена Костюкович

ПРАЖСКОЕ
КЛАДБИЩЕ

Поскольку и отступления важны, и даже они основное в историческом романе, мы включили повешение ста мирных жителей на площади, сожжение живыми двоих монахов, прохождение кометы. Каждое такое отступление неопределимо, оно замечательно отвлекает читающего от смысла.

КАРЛО ТЕНКА, *«Дом псов»*

1

Прохожий, в то серое мартовское утро

Прохожий, в то серое мартовское утро 1897 года переходящий на свой страх и риск площадь Мобер, или Моб, как зовется это место у разного жульа, — в Средневековье это было сердце университетского Парижа, где кишели школяры с факультета свободных искусств, что на Соломенной улице, а потом место казни вольнодумцев, например Этьена Доле, — оказался бы в одном из считанных уцелевших, не снесенных бароном Османом средневековых кварталов, в гуще зловонных переулков, пересекаемых рекою Бьеврой, которая тогда еще не была убрана в подземную трубу и бурлила, извиваясь и рыча, на сливе в близко протекавшую Сену. Около площади Мобер, незадолго до того изуродованной бульваром Сен-Жермен, сохраняются старые переулки: Мэтра Альбера, Святого Северина, Галандова улица, Дровяная (Бушри), Святого Юлиана Странноприимца (Сен-Жюльен-Ле-Повр). Переплетаясь, они тянутся до самой улицы Квашни (Юшетт). Все эти улочки в те поры были истыканы сквалыжными притонами. Хозяева их были обыкновенно из Оверни, азартной алчности, и просили за первую ночь по меньшей мере франк, за прочие по сорока сантимов плюс еще двадцать сантимов, если постоялец требовал простыню.

Поверни путник на улицу, впоследствии получившую имя Фредерика Сотона, а тогда, когда происходили события, званую улицей д'Амбуаз, приблизительно на ее середине, меж борделем, замаскированным под пивную, и таверной, предлагавшей с гадчайшим вином закуску стоимостью в два су (плата уже и тогда посильная для студентов соседней Сорбонны), путник попал бы в закоулочек или тупичок, по нашим сведениям переименованный в 1865 году в Моберов, а в предшествовавшие времена носивший имя Амбуазова тупика и приютивший в себе кабак «тапи-франк», то есть из таких самых различнейших, что ни на есть отпетых питейных заведений, где хозяйствует какой-нибудь уголовщик, а сходятся там бандиты и ворье. Место это печально известно среди прочего тем, что в восемнадцатом веке там варили свои зелия три знаменитые отравительницы, сами же и задохнувшиеся от смертоносных испарений собственного производства.

В торце тупика неприметное оконце лавки старьевщика объявляло слеповатыми буквами о торговле «хотя подержанными, но пристойными мебельями». При этом стекла, густо и мутно перемазанные изнутри чем-то пыльным, не позволяли видеть ни товары, ни внутренность магазина, поскольку были по двадцати сантиметров в деревянном частом, будто тюремная решетка, переплете. Возле окна располагалась и дверь, постоянно запертая, а рядом со шнурком звонка висела записка, гласившая, что хозяин на минуточку вышел.

Если же — редкий случай — дверь была бы не затворена, вошедший смог бы в неясном освещении разглядеть внутренность труппы. На немногих и шатких этажерках и на таких же валких столах громоздилось множество безделушек вроде бы и привлекательных, но при внимательном рассмотрении непригодных для порядочного коммер-

ческого оборота, даже если на них указывались бы столь же трепанные цены: фигурные изложницы для поленьев, способные обезобразить любой на свете камин, ходики с облупленной синею эмалью, подушки, в незапамятное время ярко вышитые, цветочницы с ангелками из керамики в трещинах, перекошенные тумбы неопределенного мебельного стиля, ржавая железная записочница, шкатулки, украшенные выжиганием, отвратительные перламутровые веера с китайцами, ожерелье под янтарь, белые вальяные шлепанцы с яркими пряжками, украшенными «ирландскими брильянтами» — то есть горными хрусталами, выщербленный Наполеон в виде бюста, коллекция насекомых под расколотым стеклом, фрукты пестрого мрамора, еле различимые сквозь утратившие прозрачность колпаки, кокосы, старые альбомы с неприятными акварельками (сплошные цветочки), несколько обрамленных дагеротипов (это было время, когда в дагеротипах не было ничего антикварного). Так что ежели посетитель сдуру и польстился бы на эти мизерные рукоделия, из которых любое — последний ломбардный заклад нищенствующего семейства, и приценился бы, подойдя к подозрительнейшей наружности старьевщику, то услышал бы в ответ такую сумму, от которой всякое желание продолжать торги начисто улетучилось бы даже и у самого закоснелого ловца антикварных монструозностей.

Все-таки ежели бы, не удовлетворившись, посетитель, в силу невесть откуда взявшегося права, двинулся через вторую дверь на лестницу, то есть захотел бы пойти на верхний этаж, — тогда раздрызганные винтовые ступени, обычные в подобных парижских домах, фасад у которых не шире собственного дверного проема, скоса лепящегося к тесно приближенным порталам соседских дверей, привели бы его в гостиную, украшавшуюся уже не пошлой

кустарщиной, как в нижней лавке, а обстановкой совершенно другого сорта: о трех ногах, и с орлиными головами на этих ногах, ампирным столиком; консолью на крылатом сфинксе; шкафом семнадцатого века; стеллажом красного дерева, приютившим сотню книг в замечательном сафьяне; секретером, называемым «американским», под роликовой крышкой и с кучей ящичков. Перейди он из этой гостиной в спальню, его взору открылась бы прероскошная кровать под балдахином. Рядом на простых стеллажах размещались сервиз севрского фарфора, турецкий кальян, алебастровая чаша, хрустальная ваза. На дальней стене виднелись живописные панно на мифологические сюжеты. Это были два больших холста с изображениями муз истории и комедии. Добавим, что по стенам там и тут был развешан марокканский текстиль и какие-то еще арабские одеяния из кашемира, рядом с пилигримской походной флягой. Еще там стоял старинный умывальник, нагруженный туалетными принадлежностями заботливой выделки. В общем, причудливый интерьер, полный редких и недешевых предметов, что, быть может, не свидетельствовало о продуманном и тонком вкусе собирателя, но, несомненно, выдавало его тягу к бравированию роскошью.

Возвратившись в гостиную, посетитель увидел бы перед окном, через которое мог поступать только самый незначительный свет, потому что света было очень мало вообще в этом переулке, пишущего за столом в халате пожилого человека. То, что удалось бы разглядеть через плечо, мы и читаем сейчас. Время от времени Рассказчик будет сжато пересказывать куски дневника, чтобы Читатель не соскучивался.

Не ждите, что Рассказчик эффектно опознает сейчас же в пишущем известного... Рассказ только начат, и никого известного в нем еще не было. Рассказчику совершенно не-

1. *Прохожий, в то серое мартовское утро*

ведомо, кто этот непонятный текстописатель, и Рассказчик сам интересуется это узнать, как и вы, почтенная публика. Поэтому теперь всем нам предстоит доискиваться и разгадывать скрытые смыслы тех знаков, которые перо повествующего при нас накладывает на бумагу.

2

Кто я?

24 марта 1897 г.

Вовсе и не тянет меня начинать эти страницы, душу на них оголять по велению — проклятие! нет — по подсказке! окаянного немецкого еврея (австрийского вообще-то, но ведь это все равно). Меня — то есть кого? Кто это — «я»? Думаю, ответить можно, перечислив, что и кого любит человек. Так кого люблю «я»? Никаких людей любимых я бы назвать не мог. Люблю поесть. Это да. При одном упоминании «Серебряной башни» («Ля Тур д'Аржан») я весь дрожу. Если это любовь — то вот.

Кого я ненавижу? Евреев, ответил бы с ходу. Но моя готовность раболепно потакать австрийскому доктору (а хоть бы и немецкому!) доказывает, что, в сущности говоря, я ничего не имею против растрепроклятых евреев.

О евреях я знаю только то, чему научил меня дедушка. Евреи — народ до мозга костей безбожный. Евреи думают, что добро проявляет себя не на том, а на этом свете. Поэтому они желают этот наш белый свет захватить.

Все мое отрочество омрачил этот жупел, евреи. Дедушка описывал прозорливые иудейские очи, лицемерием несказан-

ным доводящие людей до посинения. Описывал их нечистые ухмылки, их раззявленные гиеньи пасти, зубы торчком, взоры тяжелые, развратные и скотские, носогубные складки подвижные, усугубляемые ядовитостью, и носы, крючковатые, наподобие клювов южных птиц... Что ж до глаз — о, их глаза! Лихорадочно вращаются в орбитах у евреев их зрачки цвета горелых гренков, знак заболевания печени, где накопилась вся их желчь за восемнадцать столетий. Вокруг зрачков — размякшая кожа нижних век, испещряемая тысячью морщин каждый год, и уже в двадцать лет иудей выглядит потасканным, почти старик. При ухмылке его напухшие веки прижмуриваются, оставляя еле проницаемую щель, и это примета лукавства, как расценивают некоторые, или же гримаса похоти, как утверждал мой дед. Когда я подрос и стал понимать больше, дед добавил еще одну подробность. Евреи, сказал он, мало того что спесивы, как испанцы, неотесаны, как хорваты, алчны, как левантинцы, неблагодарны, как мальтийцы, наглы, как цыгане, немывты, как англичане, сальны, как калмыки, надуты, как пруссаки, и злоязыки, как уроженцы Асти, они еще и прелюбострастники по причине безудержного приапизма, причиненного обрезанием, в чем великое несоответствие между их плюгавыми фигурами и громадностью пещерного тела внутри срамного их недокалеченного выроста.

Мне эти евреи вечно снились по ночам.

Благословение случаю, что я не сподобился наяву знакомиться с ними. Исключая однажды, в юности, ту потаскушку в туринском гетто. Но меж нами и двух-то слов, считай, сказано не было. Второй еврей в моей жизни — вот этот самый лекаришка, не то австрийский, не то немецкий. Я, откровенно говоря, не ощущаю разницы.



...Мне эти евреи вечно снились по ночам...

Немец же я видал и даже делал с ними дела. Они — самая низкая ступень человеческого развития. Немец в среднем выделяет вдвое больше кала, чем француз. Гиперактивность его кишечной функции вредит работе мозга. Тем и объясняется их физиологическая второсортность. Во времена варварских орд пути германских полчищ, как правило, обрастали несоизмеримыми кучами фекалий. Да и в последующие столетия путник-француз понимал, что перешел за эльзасскую границу, чуть только он встречал из ряда вон выходящие габариты оставленных около дороги экскрементов. Мало того: немцам как нации свойствен повышенный бромгидроз (смердячий пот). Доказано, что немецкая урина содержит не менее двадцати процентов азота, в то время как у других народностей содержание азота в моче не превышает пятнадцати.

У немцев постоянно засоряется желудок из-за безудержного употребления пива и тех типичных свиных колбас, которые они поглощают. Поглядел я на них в свою мюнхенскую поездку. На протабаченные, как английский портовый склад, эти их кабаки... Ни дать ни взять пышные храмы, где вместо ладана сало и шпик. Туда они ходят парами, немецкие херры с их самками, и трясут на высоте пивными кружками (скорее, кадками), которые сгодились бы для водопоя слоновьих стад. И эти пары тварей трясут и чокаются, и снюхиваются, как псы при случке, нос к носу над пеной, лакая с ликованием, и грязно и похабно надсаживаются гортанным хохотом в своем допотопном горлобесии. На щеках и на лицах их бликует масляный пот. Так лучились оливковым маслом тела атлетов в античных цирках.

Это они себе заливают в глотки «Гейст». Вообще-то это слово значит спиритус, спиритуальность, а также духовность. Но в ихнем случае — дух пьяный и поганый, смолоду отупляющий немцев. Чем и объясняется, отчего по ту сторону Рейна никогда не бывало истинного искусства. Разве что несколько картинок с изображением непривлекательных людей

и кое-какие стишата смертельной нудности. А уж их музыка! О чем там говорить? Не о трескучем же и замогильном Вагнере, забывшем памороки нашим нынешним французам? Мне сказывали, что и у хваленого их Баха творения вовсе лишены гармонии, холодны, как зимние ночи. А уж симфонии, с которыми они носятся, сочиненные Бетховеном, прошу вас, увольте: что касается безвкусыя, так это просто апофеоз.

Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность. Наивысшее выражение их вульгарности — что они не стесняются собственной немецкости. Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был — не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками — алкоголем и христианством.

Тщеславятся своей глубиной. А вся-то глубина-то, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Эта вязкость, по их мнению, — глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна. К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть, мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечему удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. До чего я ненавидел этот паскудный язык, а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам.

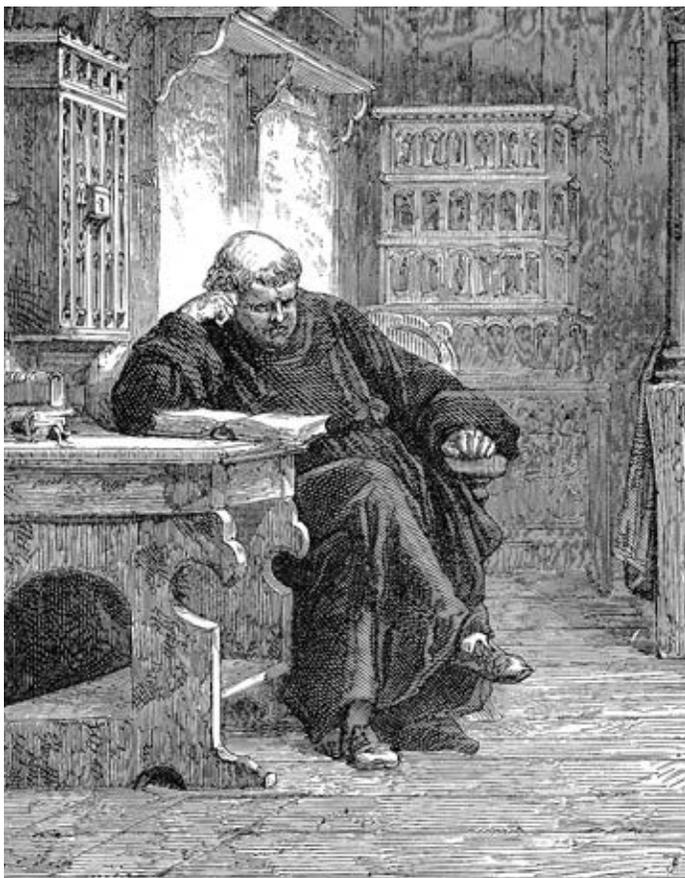
После того как Гюбино написал о неравенстве человеческих рас, принято считать, что ругают инородцев те, кто провоз-

глашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор как я окончательно стал французом (наполовину быв им от рождения, по матери), я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны до убежденности, будто всякий, кто не француз, — дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтоб он признал недостатки французской нации. Достаточно при нем сказать, к примеру: «поляки знамениты таким-то безобразием», и, поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит: «ну нет, у нас во Франции много хуже». А дальше как уж понесет своих родных французов, покуда не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили.

Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто неучтивей французского трактирщика! Он с виду ненавидит посетителей (и на деле тоже) и желает, чтоб они провалились сквозь землю (на деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен). *Ils grognent toujours*. Они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то — выпучат губы: *sais pas, moi*, препохабно, будто газы выпустят.

Французы злы. Они убивают шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу.

Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода, сплошь и рядом не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву какой ни попадя наихудшей каналыи. Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно: то, что есть в наличии, не по нем. Чтоб выразить протест, француз поет.



...Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык...

Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек, три тысячи документов подделать сумел, и все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в Национальной библиотеке. Он наострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я. И продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку Шалю... Серьезный математик, говорят, и член Академии наук, но, как мы видим, совершеннейший тютя. Не только Шаль, но и другие высокоученые академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей, Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски! Равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем! А между тем даже школьникам известно, что в старину образованные люди переписывались на латыни. Ученые мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их ненаглядного французского! Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будто он открыл всемирное тяготение за двадцать лет до Ньютона: ну, и этого с походом хватило, чтобы обмишулить сорбоннцев, отуманенных патриотической спесью.

Возможно, невежество развивается в них от скупости. Скупость — национальная чума, которую они зовут добродетелью и уточняют: «не скупость, а бережливость». Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому. И не будем забывать также о папаше Гранде.

Скарედностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна и по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями — во что бы то ни стало экономится пространство. Ежели привьют, как,

случается, прививают черенок к дереву, к французам еврея (предположим, немецкого еврея), то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья республика.

Я, конечно, сам стал французом. Но стал я им только из-за того, что итальянцем оставаться было нестерпимо. Пьемонтец по рождению, я явственно чувствовал, что я — карикатура на галла, но еще ограниченной, чем галлы. Пьемонтцы! От всякой новости пьемонтцы столбенеют. От неожиданностей цепенеют. Чтоб затащить их в Сицилийское королевство (тех немногих пьемонтцев, которые были в гарибальдийском войске), понадобились двое лигурийцев: энтузиаст Гарибальди и зануда Мадзини.

А уж то, что я выяснил в тот раз, когда меня послали в Палермо! Когда это было? Восстановить бы...

Только фанфарон Дюма любил итальянские народы. Наверное, потому, что они превозносили его. Не то что французы. Французы прежде всего видели в нем мулата, а уж во вторую очередь — писателя. Нравился же Дюма неаполитанцам и сицилийцам, которые сами помеси, и не по оплошности гуляющих родительниц, а по своей истории. Все они вырожденные от неверных оттоманцев, от невытых арабов и от вырожденцев-остроготов, унаследовавшие самое худшее от разношерстных прародителей: от сарацин нерадивость, от свевов свирепость, от греков безалаберность и крючкотворство. Впрочем, достаточно разок взглянуть на неаполитанских босяков, как они прилюдно напихиваются макаронами, вталкивая их грязными пальцами в хайло и обмазываясь прокисшим помидорным соусом. Я сам, по-моему, этого не видел, но мне рассказывали.

Итальянцы коварны, лживы, подлы, они предатели, предпочитают кинжалы честным дуэлям, предпочитают яды ле-

карствам, ускользчивы в переговорах и верны только одному принципу — принципу двурушничества, чему пример — бурбонские военачальники и как они повели себя при первом же появлении босяков из войска Гарибальди под командой пьемонтских генералов.

Все оттого, что итальянские военные сделаны из того же теста, что итальянские священники, — а именно священники, только они одни, и управляли Италией с тех пор, как этого дегенерата, последнего римского императора, оприходовали (сам подставил задницу) лихие варвары за то, что он дозволил христианству подорвать боевитость гордой нации.

Священники... Когда я соприкоснулся с ними? А в дедовом доме, думаю. Как сквозь туман, вспоминаю их скошенные взоры, испорченные зубы, нечистое дыхание и влажные от пота ладони, которыми они норовили погладить меня по головке. Вот гадость. Эти бездельники относятся к таким же опасным классам, как бродяги и воры. Тот, кто хочет стать священником или монахом, просто не хочет работать. Работать попам не приходится уж в самую силу их количества. Будь их, ну скажем, по одному на тысячу голов паствы, они бы не рассживались по суткам за жирными каплунами. Среди самых никудышных из попов правительство отбирает глупейших и рукополагает их в епископы.

Святоши повсюду. Рождаешься — они тебя крестят. Идешь учиться — учат, если родители были ханжами и заслали тебя в религиозный интернат. И они же занимаются твоим участием, катехизисом, конфирмацией. Священник в день свадьбы тебя учит, что ты должен делать с новобрачной в постели, а наутро требует исповеди, сколько же раз ты это сделал, чтоб самому повозбуждаться под прикрытием занавеси за решеткой. Попы страшат плотью, плотью, плотью, а сами неприкрыто, каждоденно встают с кровосмесительного ложа, и, даже руки не помыв, идут себе кушать и пить

своего Господа и, соответственно, потом идут себе Господом мочиться и испражняться.

Поминутно бубнят, будто царствие их — не от мира сего, и, однако, селятся наложить лапу на все, чем только можно поживиться. На свете не будет достигнуто совершенство, пока последняя церковь не рухнет на голову последнего попа и мир не освободится от поповского семени.

От коммунистов пошло выражение «религия — опиум народов». Это правильно, поскольку религия сдерживает искушения подданных. Кабы не религия, было бы вдвое больше народу на баррикадах. А так во время Коммуны восставшим явно не достало людей, и всех удалось перехлопать без проволочек. После того как я узнал от австрияка-врача о пользе одного колумбийского снадобья, я подумал: религия — это и кокаин народов, потому что религия подстрекает народы к военным действиям, к резне, истреблению неверных, она подстрекает и христиан, и мусульман, и прочих идолопоклонников. Тех негров из Африки, которые прежде ограничивались междоусобными кровопролитиями, миссионеры обратили в христианство и понабрали себе из негров-христиан колониальных солдат, идеальных для геройской смерти на передовой и для изнасилования белых женщин при взятии городов. Никогда люди с таким энтузиазмом и полнотою не творят зло, как когда они его творят во имя религии.

Хуже остальных, ясно, иезуиты. Вроде бы я им когда-то устроил веселую жизнь... А может, это они мне подгадили, не удастся припомнить... Или, кто знает, это могли быть кровные братья иезуитов, масоны. Масоны то же самое, что иезуиты, только бестолковее. У иезуитов по крайней мере только одна богословская теория, и они умеют ею пользоваться, а масоны таскаются со множеством теорий, но без царя в голове.

О масонах мне рассказывал покойный дедушка. Купно с евреями они отрубили голову королю. И пробудили к жизни карбонариев, то есть совсем дураковатых масонов, попадавших в старое время под расстрел, а в новое время — на гильотину за то, что не умели бомбу собрать по-человечески. Потом они становились социалистами, коммунистами и коммунарами. Всех их ставить к стенке. Правильно делал Тьер.

Масоны и иезуиты... Иезуиты — масоны в юбках.

Ненавижу юбки за то небольшое, что мне о них известно. Я много лет проненавидел кабаки с девицами (*brasseries à femmes*), куда сходятся презренные личности самого пакостного разбора. Они опасней явных борделей. Открытию борделей, как правило, противостоят жители соседних домов. А кабаки могут открываться где угодно: туда ведь ходят закусь и выпить. Но закусывают на первом этаже, а на втором и третьем греховодничают. У каждого кабака свой образец. Красотки наряжены на особый фасон. У нас в пивной разносят выпивку немецкие кельнерши, а рядом с Дворцом правосудия девки одеты в мантии, как адвокаты. По одним только названиям все понятно. «У Вертихвосток»! «У Марокканок»! «Четырнадцать ягодиц», неподалеку от Сорбонны! Почти всегда держатели кабаков — немцы. Вот так и подрывают французскую мораль. Меж пятым и шестым арондисманами подобных притонов не менее шестидесяти. А вообще по Парижу их наберется сотни с две. И вхожи туда зеленые юноши, они идут сперва из любопытства, а после по привычке, пока не схватят трепака, если не худшую какую-нибудь гадость. Значные места соседствуют с учебными заведениями, стыдоба! После занятий ученики толпятся около дверей и смотрят на милашек. Я лично тоже прихожу. Но я-то прихожу пропустить рюмочку. И смотрю через дверь на этих молокососов



...Иезуиты – масоны в юбках...

около двери, которые с улицы, через дверь, заглядывают туда, где сижу я. Не только молокососы. Там можно набираться сведений и о привычках, и о сношениях всяких взрослых. А сведения могут пригодиться, и пригождаются, каждое в свой черед.

Еще интересно подглядывать, что у них за сутенеры за столами. Одни — мужья, из тех, что кормятся за счет жениных красот. Прилично одетые, они сидят, курят и перекидываются в картишки. Хозяин и девчонки зовут их «рогачи». А в Латинском квартале на подобных ролях в основном студенты-недочки. Постоянно трясутся, как бы их не обдурили при расчетах, и хватаются за ножи. Самые спокойные — разбойники и убийцы. Они заходят ненадолго, потому что заняты своими убийствами и разбоями. А когда заходят, то понятно, что девчонки шутки шутить с ними не станут, если не хотят назавтра бултыхаться в грязноватой водичке в Бьевре.

Есть и моральные уроды. Заманивают извращенцев и извращенок для тошнотного разврата, зазывают их у Пале-Рояля или на Елисейских полях условными знаками. А их дружки, переодевшись полицейскими, готовятся нагрязнуть в номер в самую сладкую минуту и пригрозить беспштанному клиенту немедленным арестом. На что, естественно, тот вытащит в ответ пачечку ассигнаций.

Я захожу в лупанарии с опаской, понимая, что это риск. Когда клиент по виду денежный, содержатель кивает. Одна из распутниц подсаживается и постепенно подзывает к столу остальных товарок, и вместе пьют и жрут самые дорогие яства (однако, бережась от опьянения, заказывают себе наливки анисовые, смородинные — подкрашенную водичку, которую клиент оплатит нешуточными деньгами). Стараются растормошить клиента и на карточные игры. Конечно, перемигиваются... Ты в проигрыше... И тогда требуют платить за всех кто там ни на есть — за девок, трактирщика и трактирщицу. Стараешься уклониться — так уговаривают играть

не на деньги, а в раздевалочку. На каждую проигранную ставку девчонка снимет что-нибудь из одежды. И с каждым спущенным кружевцом оголяются мерзостные молочные тела, наливные груди и темные подмышки, пряный пот от которых разит мне прямо в душу.

Я ни разу не ходил на верхний этаж. Кто-то мне говорил: женщины — замена одинокого рукоблудия, только с ними нужно больше фантазии. Возвращаюсь к себе и вижу женщин по ночам. Я же тоже не железный. Они сами меня раздражают.

В книге доктора Тиссо я читал: женщины вредны даже на расстоянии. Неизвестно, одно ли и то же — жизненные ликворы и семенной сок. Но бесспорно, что у этих двух текущих сред наблюдается подобие. И после долгих ночных поллюций не единственно силы слабеют, но и тело худеет, бледнеет лицо, рассыпается память, туманится зрение, охрипает голос, во сне витают тревожащие видения, ощущается боль в глазах, на лице проступают красные пятна. Люди начинают харкать сгустками, мучиться сердцебиениями, удушьем, обмороками, у иных появляется понос или зловонные извержения. В результате, как правило, слепота.

Допускаю, что все это преувеличено. По молодому возрасту у меня наблюдались угри, но, наверное, это вообще свойственно отрочеству, а может, дело в том, что все подростки балуются одними и теми же способами, и злоупотребляют, и предаются этому день и ночь. Так вот, я умею дозировать радости. Сны у меня тревожны только после питейного заведения. И мне не случается, как другим, ощущать подъем от одного лишь силуэта идущей женщины на улице. Мой труд отвлекает меня от порока.

Но зачем философствовать, если цель — восстанавливать события? Оттого, что, надо думать, мои цели — не только

выяснить, чем я занимался до вчерашнего дня, но и определить, что у меня на душе. Конечно, если в принципе душа существует. Есть ведь мнение, что существенно только то, что имеет выход на внешнее действие. Не согласен! Коль скоро я кого-нибудь ненавижу и коль скоро я в себе эту вражду вынашиваю, значит, дьявольщина, я вынашиваю вражду внутри в себе! То есть кое-что внутри у меня есть. Как сказал философ, как это? *Odi ergo sum.*

Вот только что было посещение. Позвонили в двери снизу. Ужаснувшись, не явился ли кто-то глупый до такого невероятия, чтобы хотеть у меня что-нибудь купить, я открыл. Нет, этот был опытный, он сразу сказал, что его посылает Тиссо. Отчего-то я использую именно этот пароль. Ему требовалось собственноручное завещание от имени некоего Бонфуа в пользу Гийо (а Гийо, держу пари, это он сам). Принес бумагу, которой пользуется или же пользовался Бонфуа, принес, конечно, образчик почерка. Я пригласил Гийо подняться ко мне в кабинет, подобрал перышко и подходящие чернила и без черновика сообразил ему документ. Вне всякой критики. Этот Гийо, по всему судя, знал мой тариф, он отсчитал правильную сумму, соответствующую количеству наследства.

Ну, так ли уж плохо мое ремесло? Приятно выкликнуть из небытия юридически совершенный документ, создать письмо, неотличимое от подлинного, произвести признание, бросающее тень на признающегося, сфабриковать бумагу, несущую кому-нибудь погибель. В награду я пообещал себе «Кафе Англэ».

Ноздри хранят незабываемое воспоминание о тех яствах, но мне мерещится, будто целые века я не обонял ароматы их ассортимента: суфле по-королевски, филированная рыба соль на венецианский манер, нарезка из тюрбо в тертых су-

хариках, седло барашка с бретонским пюре. Забыл сказать про вводные блюда! Хорошо, там у них вводные блюда — пулярдка по-португальски, теплый перепелиный паштет, омары по-парижски, а вот возьму и закажу даже все вместе. Что же до блюда основного, пусть это будут утята по-руански или ортоланчики на канapé. Гарниры — баклажаны в испанской подливке, побеги спаржи, горшочки принцесс... Надо бы решить с вином. Предположим, Шато-Марго. Или Шато-Латур. Или Шато-Лафит. В зависимости от года. На сладкое, конечно, бомба глясе.

Кулинария меня манит куда сильнее, нежели радости пола. Это, по-видимому, умудрились насадить во мне попы.

Как-то я не в состоянии разглядеть былое. Что-то загораживает. Словно облако в мозгу у меня. Отчего вдруг всплыли сейчас в моей памяти вылазки в «Бичерин» под личиною падре Бергамаски? Я о падре Бергамаски и думать забыл. Кто он? Хочется водить пером, повинувшись единственно инстинкту. Если верить австрийскому доктору, таким путем я дойду до болевого момента в сознании. И тогда пойму, отчего у меня вытеснилось из памяти такое множество вещей.

Вчера, если точно был понедельник, точно март и точно двадцать второе, то я пробудился с абсолютно четким знанием того, кто я есть: я капитан Симонини, шестидесяти семи лет, в замечательной форме, чуточку в теле, но именно настолько, чтобы считаться, как говорят, представительным мужчиной. В капитаны произведен во Франции в честь памяти деда и в награду за определенные неафишируемые заслуги (состоял в гарибальдийской «Тысяче»). Во Франции, где к Гари-

бальди относятся положительней, чем в Италии, подобный послужной список котируется.

Симоне Симонини. Родился я в Турине, отец мой туринец, мать моя была француженка, точнее, уроженка Савойи, но во время ее рождения Савойя была захвачена французами.

Я нежился в кровати и раздумывался. Учитывая сложности между мною и русскими (хотя что там у меня вышло с русскими?..), лучше не соваться в любимые рестораны. Я могу сам себе готовить что-нибудь. Потратить час или два на изысканное блюдо — ни в малой степени не в труд. Ну, скажем, телячьи ребрышки «Фуайо»: толсто нарезанное мясо, не менее четырех сантиметров, я сделаю двойную порцию... Две среднего размера луковицы, пятьдесят граммов мякиша, семьдесят пять граммов натертого сыра грюйер, пятьдесят граммов сливочного масла. Мякиш раскрошить, перемешать с тертым сыром, натереть на терке лук, растопить сорок граммов масла в небольшом сотейнике, одновременно на сковородке подрумянить тертый лук на оставшемся масле, уложить в судок на дно половину лука, на него мясо, сдобрив солью и перцем, и весь остаток лука сверху. Поверх же лука — сыр, перемешанный с мякишем, под него залить масло. Из сыра руками слепить подобие купола. Побрызгать запеканку крепким бульоном и вином и продержать в печи около получаса, добавляя по надобности вино и бульон. На гарнир рекомендую цветную капусту. Такая готовка отнимает время, но и растягивает удовольствие от кухни на большие сроки. Готовить — само по себе означает предвкушать. Чем я и занимался, еще не успев встать утром с кровати. Глупцам потребна женщина в постели или мальчишка, чтоб разгонять одиночество. Глупцам, по-видимому, невдомек, что пускать слюни приятнее, чем вздымать плоть.

В доме имелось все, что нужно, кроме мяса и грюйера. Мясо, будь это другой день недели, нетрудно было бы купить на пляс Мобер. Однако по понедельникам невесть с которой

статуи мобоверский мясник закрыт. Я знаю другого, он дальше на двести метров, на бульваре Сен-Жермен. Не важно, прогуляться полезно.

Одедся. Перед выходом на улицу, перед зеркалом, над умывальным тазом, я налепил обычные черные бороду и усы. Надел парик. Аккуратно провел посередине пробор, примачивая волосы влажным гребнем.

Одедся я в редингот. В карман жилета заложил серебряные часы, развесил поперек живота цепочку. Когда я капитан на пенсии, мне нравится при разговоре вертеть в руках черепаховую табакерку с лакричными палочками, под крышкой которой проглядывается портрет уродливой, с достоинством одетой дамы: типичная «незабвенная усопшая». Посасываю палочки и перекаत्याваю их во рту языком, что мне дает возможность разговаривать помедленнее. Собеседники вглядываются в рот и не вслушиваются в слова. Цель моя — производить впечатление человека самого дюжинного.

Выйдя, я усилием воли удержался от замиранья перед кабаком, откуда даже ранними утрами доносятся вульгарные визги прелестниц. Хоть площадь Мобер уже не тот волчий угол, каким она была во времена моего вселения, тридцать пять лет назад, когда везде мельтешили перепродавцы табака, выковыренного из окурков. Крупно порезанный, из окурков сигар и из выбитых трубок табак стоил за фунт по франку и двадцати сантимов. А то, что добывалось из сигаретных окурков, стоило от франка пятидесяти до франка шестидесяти за фунт... Невелика коммерция, и, зная, поэтому никто из шустрых шнырял, чьей выручки хватало только на питье в кабаке, не ведал, куда ему голову приклонить с приходом вечера. Там околачивались и сводники, лишь в третьем часу пополудни вылезавшие из-под перин,

а прочую часть дня курившие прислонившись к стеночке, как тихие пенсионеры, с тем чтобы преобразиться в свирепых волкодавов после того, как стемнеет и начнется работа. Слонялись унылые щипачи, с горя запускавшие вороватые ручонки друг другу в карманы, потому что ни один нормальный горожанин не шел по доброй воле на эту прожженную площадь. Я бы мог быть для них лучшей добычей, не чекань я шаги по-военному, с грозным покачиванием трости — да, кроме того, местные карманники были со мною знакомы, здоровались, капитану почтение, наверно, думали, что я каким-то боком причастен к их колготне, а, как известно, рука руку моет... Ходили там и блудницы с обвисшими статьями, которые, будь привлекательнее, подвизались бы в *brasseries à femmes*, но, потрепанные, они могли только предлагать себя старьевщикам, мазурикам и окурочным лотошникам. Завидев такого, как я, чистого господина, в выколоченном цилиндре, они, неровен час, норовили отважиться на прикасания и даже подсунуть свою под мою руку; их близость пахла бы отвратительным грошовым парфюмом, сливающимся с запахом их пота, и это было бы такое невыносимое амбре (не хотел бы я потом снова увидеть ту или иную во сне!), что при приближении подобной пропащей я лупил палкой по воздуху, выгораживал около себя пространство защищенное и недоступное. И они понимали с ходу. Их сестра привыкла, чтобы ею командовали, и палку уважает.

В толпе в былое время густо лавировали еще и соглядатаи из полицейской префектуры, подыскивая себе в том людском месиве «наседок», то есть осведомителей, подслушивая существенные сведения о замыслах банд, об их намерениях и соглашениях, особенно когда кто-то шептал другому не очень тихо, надеясь, что слова потонут в оглушительном гомоне. Но лично я с первого же взгляда отличаю по внешнему виду шпиика: он страсть до чего похож на преступника. А честные

воры совершенно не похожи на воров. Так что шпикив изда-дека видать.

По этой площади теперь курсируют трамваи. Нет уже чувства, будто не выходишь из квартиры. Поубавилось занятных субъектов. Хотя, если уметь отличать, по-прежнему полезные людишки там обретаются, у неприметных углов, у двери в кафетерию «Мэтр Альбер» или в соседних закоулистых улочках. Но мы же все знаем: Париж стал не тот. С любого угла как ни глянешь, торчит и колет глаза нелепая карандашная точилка, *Tour Eiffel*.

Довольно. Я не сентиментален. Осталось немало других полезнейших мест, где можно наудить чего требуется. Вчера, например, мне требовались мясо и сыр. Сыр удалось купить на площади. Я двинулся дальше и увидел, что открыта лавка мясника.

— Работаете в понедельник? — спросил я, зайдя.

— Сегодня же вторник, капитан, — отвечал тот, осклабясь.

Я запнулся и извинился. Старею, говорю, засбоила память. Мясник ухмыльнулся: это ли старость, вы-де, ежели взглянуть, вообще мальчик, знали бы, у скольких в голове мешается по утрам, особенно с похмелья. Я выбрал мясо, уплатил и даже не поторговался. А ведь только этим и держу поставщиков в страхе...

Так, гадая, какой же сегодня день, я пришел домой. Как обычно, следовало снять бороду и усы. Я зашел в спальню. Тут-то я и изумился. С крючка на вешалке свисала сутана неподдельно священнослужительского вида. А рядом на комоде покоился каштановый, со светло-рыжим отливом густой парик.

Что за проходимец забрался ко мне в спальню? Подумав так, я моментально смекнул, что и сам заgrimирован. Значит, я переодеваюсь по очереди то в почтенного капитана, то в духов-

ника? Может, у меня вытерто из сознания то, что относится к той, второй натуре? А может быть, по некоторой причине (ну, скажем, скрываясь от ареста) я клею бороду с усами и в то же время предоставляю кров кому-то переодевающемуся в аббата? Но если псевдоаббат (будь он подлинным, парик не надевал бы) живет со мной, то где он спит? Ведь в комнате только одна кровать? А может, аббат здесь не живет, а только что сюда явился, провел вчерашний день, зачем-то избавился от реквизита и в новом облике отбыл бог знает куда и бог знает зачем?

Необъяснимая пустота в голове. Как будто я видел нечто, что надлежало бы помнить, но я не помнил. Вернее, помнил не я. За меня помнил кто-то другой. Думаю, что «за меня помнил» — самое точное выражение. Я ощущал себя кем-то иным, кто смотрит на меня со стороны. Кто-то смотрел со стороны на Симонини, который вдруг понял, что не до конца понимает, кто он есть.

Спокойствие, разберемся, сказал я себе. Тот, кто под видом старьевщика подделывает документы и живет в непрезентабельном квартале Парижа, вполне способен приютить знакомого, замешанного в определенные непохвальные махинации. Хотя то, что я, приютив, забыл — кого, когда и зачем, — вот это, по совести говоря, меня совершенно не радует.

Меня тянуло оглядеться. Собственный дом казался чужим и чуждым. Повсюду сюрпризы. Я стал осматривать квартиру как чужую. После кухни направо по коридору была моя спальня. Налево — зала с обычной мебелировкой. Я выдвинул из письменного стола ящики. В них были принадлежности моего ремесла. Перья, бутылочки с разными чернилами, листы и белой и состаренной бумаги разных времен

и форматов. На стеллажах, помимо книг, имелись коробки, где содержались мои документы, и старая ореховая шкатулка. Я силясь припомнить, для какой цели эта шкатулка употребляется. Но тут позвонили снизу. Спускаясь, я готовился прогнать любого надоедалу. Ан нет, старуха, и вроде бы знакомая. Через стекло она прошамкала: «Я от Тиссо». Поэтому пришлось ей открыть. Не знаю, отчего вообще я выбрал паролем этого «Тиссо».

Старуха вошла и развернула прижимаемый к груди сверток. В нем было десятка с два просфор.

— Аббат Далла Пиккола говорил, что вы интересуетесь.

Я с удивлением услышал, что отвечаю «да-да».

Затем я спросил:

— Почем?

— По десяти франков, — ответствовала старушонка.

— Вы, наверно, не в себе, — произнес я по торгашеской привычке.

— Это вы не в себе, если служите черные мессы. Думаете, легко обегать за три дня двадцать богослужений, причаститься, и постараться не обслюнить товар, и в молитвенной позе на коленях, прикрывая лицо руками, аккуратно выплюнуть в платок, так, чтоб ни священник, ни соседи не заподозрили? Не говоря уж об осквернении святыни и о том, что теперь мне дорога в ад. Так что, ежели желаете, двести франков, а если нет, я иду к аббату Буллану.

— Аббат Буллан умер, по всему видать, вы давно не ходите за просфорами, — автоматически ответил я. Затем я сказал себе, что при такой сумятице, какая у меня в голове сейчас, предпочтительней действовать по наитию и не сильно умничать.

— Ладно уж, я возьму, — сказал я и заплатил. И припомнил, опять же по наитию, что припрятывать их надлежит именно в ту шкатулку, что на полке в кабинете. А потом — ждать ценителя. Работа как работа, не хуже прочих.

В общем, все казалось мне заурядным, все было привычно. И в то же самое время вокруг меня витало нечто зловещее, ускользающее и необъяснимое.

Я поднялся с просфорами в кабинет, запрягал их в тайник и обнаружил, что за драпри в глубине — потайная дверь. Открыл, соображая: ноги понесут меня в темный коридор, до того непроглядный, что и фонарь не помешал бы. Он походил, тот коридор, на склад театральной бутафории или на кладовую тамплиерского тряпичника. По стенам развешаны были самые разные костюмы: крестьянский, карбонарский, посылничий, побирушеский. Рядом — солдатский китель и форменные брюки. И тут же соответствующие пары, красовавшиеся с расстановкой на полке. Их была нахлобучена добрая дюжина на деревянные болваны. Именно таковы уборные комедиантов, уставленные белилами и румянами, заваленные карандашами черными и синими, и кроличьими лапками, и пуховками, и щеточками, и кисточками.

Коридор заворачивал за угол, в конце была видна на просвет другая дверь, а за дверью оказалась комната, освещенная ярче моих. Свет туда поступал определенно с улицы, а не с подслеповатого Моберова тупика. Подойдя к окну, я удостоверился, что оно выходит на улицу Мэтра Альбера.

Из комнаты на улицу спускалась лесенка. Больше там ничего не было. Вот и вся квартира, кабинет и спальня разом: мрачноватая мебель, стол, аналой, кровать. Около выхода — кухонька, на лестнице закуток, в нем умывальник.

Конечно, это обиталище священника. Причем с которым я приятельствую — не случайно же наши квартиры имеют общий коридор. Но хоть и брезжило во мне какое-то воспоминание, я был так неподвижен, как будто впервые попал в эту отдельную комнату.

Там на столе лежала стопка писем с конвертами. Все адресованы «Достопочтеннейшему аббату Далла Пиккола». И тут же лежали листы, исписанные тонким кудреватым, как женский, почерком, совершенно непохожим на мой. Наброски несущественных писем. Благодарности за присланные подарки. Подтверждения встреч. Самое верхнее, однако, имело довольно неряшливый вид: записи для себя, мысли для обдумывания. Я с трудом разобрал начало записей:

Все мне кажется невсамделишным. Будто кто-то другой за мною подсматривает. Записывать — восстанавливать. Устанавливать, как и что было.

Сегодня 22 марта.

Где сутана с париком?

Что я делал вчера? В голове туман.

Не мог вспомнить, куда ведет дверь из комнаты.

Обнаружил коридор (впервые увидел?). В коридоре костюмы, парики, грим и гуммозы, реквизитика актеров.

На крючке в коридоре отличная сутана. На полке я нашел прекрасный парик и кустистые брови. Наложил желтый грим, чуть подрозовил скулы, получилось то, что я считаю за «я». Бледный, экзальтированный. Аскетичный.

Это я. То есть я — это кто?

Я точно знаю: я — аббат Далла Пиккола. То есть миру я известен как аббат Далла Пиккола. Но конечно, я не аббат, потому что, чтобы стать аббатом, я кладу грим.

Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца.

Перечитать эти записи. Если то, что записывалось, будет записано, значит, было на самом деле. Доверять только записям, документам.

Кто подлил мне в питье дурман? Буллан? С него станется. Или иезуиты?

Или же франкмасоны? Что у меня общего с франкмасонами? Евреи! Вот кто подлил.

Я не в безопасности тут. Кто-то может забраться ко мне ночью и украсть мои костюмы. Даже хуже того, подглядеть мои записи. Кто-то рыщет по Парижу, выдавая себя за аббата Далла Пиккола.

Нужно мне лететь в Отей. Может быть, Диана знает. Кто это — Диана?

Записи аббата Далла Пиккола обрывались тут. Удивительно, что он не унес с собой столь компрометирующий документ. Это было доказательство, в каком смятении находился аббат. На этом кончалось все, что я мог знать об аббате.

Я возвратился в квартиру, выходящую на тупик Мобер, и уселся за стол. Каким образом жизнь аббата Далла Пиккола перекликивалась с моею?

Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение: аббат Далла Пиккола и я — одно. Если принять эту гипотезу, все становилось на места, в том числе соединенные квартиры. Тогда, выходит, я вернулся переодетым в Далла Пиккола в квартиру Симонини, снял и сутану и парик и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу... Если Симонини — это Далла Пиккола, почему мне ничего не известно о Далла Пиккола? Почему я не аббат Далла Пиккола, который ничего не знает о Симонини? Почему, более того, мысли и чувства Далла Пиккола я узнаю лишь после чтения его помет? Если Далла Пиккола — это я, мне бы сейчас полагалось быть в Отее, в том доме, о котором аббат, похоже, знает все, а я (я — Симонини) не знаю ничего. И кто такая Диана?

Единственное, может быть... Если я — частично Симонини, не помнящий о Далла Пиккола, и я же частично Далла Пиккола, не помнящий о Симонини... Это не так уж невероятно.

От кого я слышал о случаях раздвоения личности? Вроде это наблюдалось у Дианы? Но кто такая Диана?

Я сказал себе: будем действовать по порядку. Я точно знаю, что веду тетрадь со списками дел. Мои записи на ближайшее время такие:

21 марта месса

22 марта Таксиль

23 марта Гийо – завещание Бонфуа

24 марта к Дрюмону (?)

С чего я должен был двадцать первого идти на мессу — не знаю. Непохоже, чтобы я был верующим. Верующий верит во что-то. Верю ли я? Наверяд ли. Следовательно, я неверующий. Это по логике. Оставим на время. Бывает, что на мессу нужно пойти по множеству разных причин. И вера в подобных случаях ни при чем.

Но вот в одном обстоятельстве сомневаться никак невозможно. Это в том, что я думал, будто был понедельник, а был вторник. Не 22-е, а 23-е марта. И действительно, приходил Гийо для составления завещания Бонфуа. Двадцать третьего. А я-то полагал, будто было двадцать второе. Как же я провел двадцать второе? Кто такой или что такое Таксиль?

Относительно того, чтобы в четверг видаться с Дрюмоном, не могло быть и речи. Как я мог встречаться с кем-либо, если даже не знал, кто такой сам я? Надо бы пересидеть, пока все это в голове не утрясется. Дрюмон... Я себя уговаривал, что прекрасно знаю, кто такой Дрюмон. Но как только я усиливался припомнить, кто это, голову как будто окутывал пьяный дым.

Попробуем порассуждать, сказал я себе. Во-первых: Далла Пиккола — это кто-то другой, кто по непонятным причинам нередко загуливает ко мне, а наши квартиры связаны кори-

дором, более или менее тайным. Вечером 21 марта Далла Пиккола явился в мои комнаты, что выходят на тупик Мобер, снял с себя сутану (но для чего он ее снял?) и перешел спать в собственную квартиру, а на следующий день пробудился в беспамятстве. И в том же самом беспамятстве проснулся и я на следующее утро после Далла Пиккола. И все-таки: чем именно я занимался в понедельник 22 марта, перед тем как пробудился в беспамятстве утром двадцать третьего? И почему аббат Далла Пиккола снимал свою сутану в моей квартире? И в каком же он виде, сбросив сутану, шел к себе по коридору? И в котором часу? Вдруг напал на меня ужас — а не пролежал ли этот аббат первую часть ночи со мной в постели... Господи, женщины внушают, конечно, мне отвращение, но аббат — это ведь еще хуже. Я девственник, а не извращенец.

Или все-таки я и Далла Пиккола — одно? Как-никак его сутана висела у меня в опочивальне. По идее, я мог вечером в день мессы (двадцать первого) возвратиться через тупик Мобер в обличье Далла Пиккола (если я ходил на какую-то мессу, то, вероятно всего, под видом аббата). Возвратившись, избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент аббата (позабыв, что сутана осталась у Симонини). На следующий день, в понедельник двадцать второго марта, пробудившись в обличье Далла Пиккола, не только не сумел обрести свою память, но и сутаны не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом Далла Пиккола, потерявшим память, натянул запасную сутану, висевшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Отей, а ближе к вечеру передумать, отбросить страх и вернуться все-таки в Париж в квартиру на Мобер. Там снять сутану и повесить ее на крюк в спальнной комнате. А с утра, наново лишившись памяти, но уже став капитаном Симонини, провести вторник, воображая его себе как понедельник. В этом

случае, старался я рассуждать, Далла Пиккола не держит в памяти событий 22 марта и обеспамятев проводит целый день, а на следующий, двадцать третьего, пробуждается как беспамятный Симонини. Это вовсе не удивительно, о подобном я уже слыхивал от... как зовут этого медика из той лечебницы, что в Венсенне?

Хотя нет, не получается. Я перечитал записи. Если бы все так и было, Симонини двадцать третьего утром должен был бы найти в своем спальном помещении не одну, а две сутаны. Ту, которую он снял вечером двадцать первого, и ту, которую он снял вечером двадцать второго. А нашел только одну.

Ох, да что за глупости. Далла Пиккола вернулся из Отея вечером двадцать второго на улицу Мэтра Альбера, снял сутану в той квартире, а потом перешел в квартиру на Моберовом тупике и улегся там спать до самого следующего утра. До утра двадцать третьего числа. Просыпаясь, он стал капитаном Симонини и увидел на крючке на вешалке только одну сутану. Правда, будь это так, утром двадцать третьего числа, придя в квартиру Далла Пиккола, я должен был бы найти у Далла Пиккола в комнате сутану, оставленную там вечером двадцать второго... Но может быть, Далла Пиккола пошел и повесил сутану на место в коридор, туда же, откуда взял? Пойду-ка проверю...

Я вышел в коридор с фонарем и при этом сотрясаясь от страха. Если Далла Пиккола — это не я, говорил я себе, то не исключается, что он сейчас идет навстречу с другого конца коридора с таким же точно фонарем в руке. Слава небесам, ничего этого не было. На крючке в коридоре висела сутана.

И все-таки, и все-таки. Если Далла Пиккола вернулся из Отея и, повесив сутану, прошел по всему коридору вплоть до моей квартиры и улегся, ничтоже сумняшеся, почивать

2. Кто я?

в мою кровать, это могло произойти лишь только при условии, что он обо мне имел понятие и понимал, что у меня он может располагаться как у себя дома, ибо он — это я и есть. То есть Далла Пиккола укладывался в кровать, понимая, что он Симонини. В то время как Симонини на следующее утро, проснувшись, вовсе не знал, что он — Далла Пиккола. Другими словами, Далла Пиккола потерял память, потом снова обрел ее, а своим беспамятством на следующее утро одарил капитана Симонини.

Беспамятство... Это значит «противоположность памяти»... Это слово внезапно открыло передо мной будто бы просвет в тумане. Что-то давно позабытое. Был ведь у меня разговор о беспамятных! Разговор был в «Маньи». Примерно около десятка лет назад. Собеседниками были я, Буррю и Бюро, Дю Морье и австрийский тот самый доктор.